Немко

Алексей Кулаковский

SHOUT
SHARE
IT

- Кулаковский Алексей

Кулаковский Алексей
Немко

Алексей Николаевич Кулаковский

Немко

Рассказ

Перевод с белорусского Семена Родова.

Осенью тридцатого года я уезжал из родной деревни в город Рогачев учиться. Подвезти меня до станции вызвался дядька Никанор, седобородый картавый человек, хороший знакомый, друг нашей семьи.

Деревня медленно удалялась. Скрылся из виду наш двор с каштанами у ворот. Я подумал, что мать, должно быть, уже вернулась домой: она провожала только до часовенки у деревенской околицы. Теперь виднелись одни сады. Они еще буйно зеленели, но даже издали было заметно, что это уже не прежняя свежая зелень весны.

И как невольно отмечаешь первые морщинки на лице близкого человека, так и я теперь, глядя на зелень деревенских садов, невольно различал желтые листья среди зеленых. Мне казалось, что они даже отсвечивали на солнце, словно осень улыбалась сквозь густую листву своими золотистыми глазами.

Потом я как-то вдруг заметил, что одно желтое пятно показывается все чаще и чаще. Я не сразу сообразил, что это желтеет не листва, а новый сруб немого Павла. Немко начал ставить себе хату, - это не было новостью здесь, тем более для дядьки Никанора, который, как говорят, знал, что варится в горшке у каждого односельчанина. Все же, вглядываясь в это желтое пятно, я негромко сказал:

- И Павел Куцула стал строиться.

Дядька Никанор промолчал, он недолюбливал немого, как и некоторые другие крестьяне. А я любил Павла. Если не говорить о родителях, то с ним одним из нашей деревни мне особенно жаль было разлучаться. И как раз с ним-то мне и не удалось повидаться перед отъездом. А так хотелось, чтобы Немко сказал мне теплое слово на прощанье! И я ответил бы ему тем же. Мы отлично умели разговаривать друг с другом и выражать свои чувства, хотя Павел был глухонемым от рождения.

"От рождения ли?"

Я задал этот вопрос дядьке Никанору, и тот подтвердил, что это так.

Образ Немко стоял перед моими глазами, и вместо того

чтобы думать о будущем, о том, что ждет меня в городе, я стал вспоминать прошлое. Я думал о жизни человека, которого знал с детства: мы вместе пасли лошадей, драли лозу для корзин... А сколько раз делили еду из его или моей пастушьей торбочки?..

Ведя на заре лошадей Кадрыля, у которого Павел давно служил батраком, он обычно останавливался у нашего двора и ждал меня у ворот. Я быстро одевался, вешал за спину торбу, и мы верхом выезжали за деревню - я на своей пегой кобылке, а он на хозяйском жеребце, к уздцам которого были привязаны еще три кобылы и один однолеток.

Каждое утро Немко направлялся в какое-нибудь новое местечко с густой, свежей травой: то на лужок среди посевов, куда со стадом нельзя пробраться, то на чей-нибудь загон, где летом густо зеленела сочная поросль. Мы забирались в такой уголок среди посевов, что и нас самих, и наших лошадей не видно было за высокой стеной ржи. Иногда мы водили лошадей в лес, но опять же в такие места, куда редко кто заглядывал.

Немой не любил пасти в гурте. И если какой-нибудь деревенский подпасок, увлекшись поисками табуна по конским следам, находил нас, Павел бывал недоволен, хотя никогда никого не гнал от себя.

Я же обычно радовался новому человеку. Наедине с немым мне нередко становилось тоскливо, несмотря на то, что я очень любил Павла. Меня угнетало одиночество и та особая сиротливая тишина, которая царила в наших зеленых укромных уголках.

Немко был трудолюбив. Он всегда что-нибудь делал: то плел лапти, то вил из пеньки путы, то мастерил что-нибудь из чечетки. Он был занят делом, а я оставался один. Немко вообще не любил, когда к нему лезли с разговорами или с вопросами, а потому держался в стороне от людей. Со мной же он беседовал охотно, но только когда заговаривал я сам. А о чем мог я разговаривать с ним? Он был лет на семь старше меня. С таким человеком, и не будь он немым, не всегда бы нашел общий язык, а с немым-то и подавно.

И все же мы о многом говорили с Павлом. Иной раз так наслушаешься за день конского хрумканья и однотонного дремотного шума ветра во ржи, что начинает казаться, будто ты уже целый год не слышал человеческого голоса, и тогда тоска охватывает тебя до горькой обиды, до отчаяния, до боли в груди. Сделаешь, бывало, дудочку из тростника, заиграешь. Лошади перестают жевать траву, поднимают головы, начинают храпеть, услышав непривычный звук, а Немко посмотрит в мою сторону и усмехнется. Тогда мне становится немного веселее. Голос дудочки, конечно, не человеческий голос, но, должно быть, это

приятный звук, если Павел слышит его и даже улыбается.

И я подхожу к Немко. Я начинаю разговаривать с ним вслух, как со всеми, совершенно забыв о том, что он не слышит. Мне кажется, звуки моей дудочки и мой собственный голос имеют какой-то особый доступ к ушам немого и тот слышит все, все, что я говорю.

И в самом деле, Немко понимал меня. Не отрываясь от работы, он слушал, смотрел мне в глаза и кивал головой, улыбался. Лишь изредка, когда он переставал понимать, по лицу его пробегала хорошо знакомая мне скорбная тень, и он делал тогда какое-то особое, лишь ему свойственное вопрошающее движение головой. Я повторял то, что сказал, стараясь выразиться яснее, и помогал себе жестами.

На некоторое время беседа с Павлом развлекала меня. Я говорил и слушал свой голос, а в душе росла какая-то странная надежда, что немой вдруг заговорит, и голос его будет таким же приятным и мягким, как и взгляд голубых глаз. Но разговор обрывался, надежда исчезала, и мне снова становилось тоскливо. Вот почему я от души бывал рад, когда нас находил какой-нибудь пастушок.

Возможно, когда-нибудь я и решился бы оставить Павла, повести свою кобылу в гурт, но, признаться, боялся своей пегой - уж очень она была норовиста и хитра. Хлопчик я был хилый, слабый. Она словно понимала это и издевалась надо мной, как хотела: шла за чужими лошадьми на общее пастбище, сворачивала с дороги прямо в потраву, и я с нею ничего не мог поделать. Она ничуть не боялась меня и часто выкидывала разные фокусы.

Однажды пегая осмелилась пошутить и с Немко. Я никак не мог поймать ее. Подошел Немко, так она и от него пустилась наутек. Только боком ей вышла эта шутка. Павел, догнав кобылку, так хлестнул ее прутом по ногам, что она вся задрожала, споткнулась и уткнулась мордой в землю. С того времени пегая стала шелковой в руках Павла.

Моя мать потому и посылала меня пасти лошадь вместе с Немко, что он всегда помогал мне и не давал в обиду ни пегой, ни старшим хлопцам, которые не прочь были воспользоваться тем, что я был слабее их.

Все хорошие качества Немко были известны мне гораздо лучше, чем другим. Плохого за ним я никогда не замечал. Я был уверен, что Павел способен только на хорошее, и мне было всегда обидно, когда дети и даже взрослые избегали встречаться с ним, боязливо уступали дорогу.

Не только в нашем селе, но и в соседних считали, что Немко

обладает необычайной силой. Кто-то даже будто видел, как он, рассердившись, положил на все четыре лопатки Кадрылевого жеребца. Считали также, что Немко в гневе способен убить человека.

Меня это особенно раздражало, я ведь знал, что Павел и курицы не зарежет. Никого никогда не побил он, не обидел.

А наши пастухи, загнав коней на чужой выпас, иной раз пользовались именем Немко как щитом. Едва показывались разъяренные хозяева луга, как пастухи начинали кричать:

- Немко, сюда! Немко, сюда!

И люди разбегались, пугаясь одного этого имени.

Никто не видел Павла свирепым, но все хлопцы из окрестных деревень утверждали, что при стычках с чужими немой хватает какую-нибудь дубину и разбивает всем головы.

А я после таких разговоров еще больше тянулся к Немко.

На моих глазах как-то выпал из гнезда птенчик. Услышав наши шаги, он широко раскрыл свой желтый клюв. Немко осторожно взял его в руки, подул ему в клювик, потом так же осторожно положил его за пазуху. Долго после этого он лазил по кустам, пока не нашел гнезда. Затем поманил меня рукой. Трое птенчиков сидели в гнезде, а четвертому там, казалось, и места не было. Немко вынул из-за пазухи своего птенчика и сравнил его клюв с клювами птенцов, сидевших в гнезде. Клювы были одинаковые. Тогда он посадил своего птенца в гнездо, и тот поместился там, не стеснив других.

Я вернулся к лошадям, а Павел остался и еще долго наблюдал за гнездом. Он ждал, когда прилетит мать этих птенцов. Могло ведь случиться, что птичка погибла или бросила своих детей и желторотые остались без присмотра; может быть, с птичкой случилось несчастье; наконец, птичка могла накормить троих, а четвертому не дать ничего. "Этому дала, этому дала, а этому не дала", показывал мне потом Немко на пальцах. Я вспомнил, как бабушка часто играла со мной в "сороку-ворону", когда я был еще совсем маленьким, и подумал, что и Павлу, верно, знакома эта детская сказочка.

Помню только один случай, когда Немко сильно осерчал на человека, но и то не мстил ему, не угрожал, а заглушил, подавил обиду в своем сердце.

Мне было тогда лет десять. В ту весну впервые стал пасти лошадей и еще не умел как следует ездить верхом. У нашей пегой был жеребенок. Однажды он отбился от матери и помчался в поле, впереди чужих лошадей. Кобыла поскакала за ним. Я обеими руками вцепился ей в гриву, но она стала еще сильнее подбрасывать меня, и я до того испугался и растерялся, что уже

не думал, как бы мне остановить кобылу или удержаться, а только ждал момента, когда свалюсь и стукнусь о землю. Долго ждать не пришлось: земля мелькнула перед глазами, и меня так сильно хватило по затылку, что даже в голове загудело. Я, конечно, ничего не помнил, но люди, поднявшие меня, говорили, что Немко, увидев меня в беде, бросился наперерез, чтобы остановить кобылу, но вышло так, что он не помог, а испортил дело, - кобыла метнулась в сторону, и я упал.

Немко принес меня домой и дней десять, пока я был болен, пас нашу пегую. Все это время, как потом рассказывала мать, я пролежал без памяти, метался, кричал, унимал пегую, искал пропавшие уздечки и звал Немко.

Мне запомнился только тот день, когда я, наконец, пришел в себя и взглянул на свет. Пожалуй, ни один день в жизни так ясно не остался в моей памяти. Вероятно, поэтому я так хорошо помню все, что случилось тогда с Немко.

Едва открыв глаза, я спросил у матери, где Павел. И вот что она рассказала мне:

- Все время, что ты хворал, Немко пас лошадей один, и никто не знает где. А сегодня он совсем сбежал от Кадрыля - неизвестно, вернется или нет. А все из-за колечка. Ты, сынок, когда-нибудь видел у него колечко на пальце?

Я ответил, что никогда не видел.

- И никто не видел, - продолжала мать, - а оно у него было, говорят, золотое, с рубиновым глазком. Никто не знает, откуда у него это колечко. Одни говорят, что оно досталось ему от матери, другие - что Немой сам сделал его из золотого рубля, а старый Талимон клянется, что своими глазами видел, как Павел вынул это колечко из вороньего гнезда. Ну, где бы ни взял - пусть; может, бог ему счастье послал. Но только на беду досталось ему это колечко. На Спаса подарил он его Любе Гуриновой. Верно, сильно любил ее, если подарил девушке такую вещь. Сказывают, будто он разговаривал с ней настоящими словами, но только без голоса. Шевелил губами, а она все, все понимала. Ну и пусть бы, как говорится, носила на здоровье, так нет - начала девка чудить. Сперва ей вздумалось отнести колечко мастеру, чтоб тот перелил на серьги. Потом решила серьги не делать, у нее и уши-то не проколоты, а променять колечко на туфли. А кончилось все это тем, что подарок Павла очутился на руке у Матвея Балыбы. Павел как увидел свое колечко на куцем пальце Балыбы, так весь и затрясся. Лицо его то бледнело, то краснело. Потом, говорят, подошел к Матвею, схватил за руку и так потянул, что у того все жилы чуть не лопнули. Думали - вывихнет или оторвет руку. И суждено же парню: в детстве сунул, дурной, руку в соломорезку,

все пальцы ему оттяпало, а теперь из-за колечка мог бы и совсем без руки остаться. И откуда взялось у Матвея колечко, до сих пор неизвестно. Говорят, что та молодая ветреница отдала колечко старшему брату Матвея, а Матвей украл у брата. А теперь Немко в обиде или со стыда сбежал куда-то.

Как я потом узнал, у Павла и мысли не было калечить калеченого. Он только снял колечко с руки Балыбы и надел на свой мизинец.

Поправившись после болезни, я при первой же встрече с Немко заметил это колечко, а потом уже видел его все время.

* * *

Вернулся я в родную деревню только спустя четырнадцать лет.

Дядька Никанор так постарел за эти годы, что я с трудом узнал его.

Полуразрушенная в годы войны деревня как-то сжалась, притихла, словно все еще не верила, что гроза прошла и сквозь тучи выглянуло и начало светить солнце.

На краю деревни, среди старых яблонь, стоял знакомый мне сруб Павла. Теперь он не играл на солнце желтыми переливами, как в день моего отъезда, а смотрел из листвы черными провалами окон. Сруб этот снова напомнил мне детство, нашу дружбу с Немко, золотое с рубиновым глазком колечко Павла. Я спросил у Никанора, почему Немко не достроил свою хату. Старик посмотрел на меня слезящимися от старости глазами, покачал головой и, вздохнув, сказал:

- Не достроил и не жил в ней, а погиб здесь.

По словам Никанора, немой, вступив в колхоз, отказался от своей хаты. Он был назначен колхозным конюхом и так полюбил эту работу, так свыкся с лошадьми, что ни на шаг не хотел отходить от них. Правление колхоза выделило ему хатенку около конюшни, где он и стал жить.

Меня это очень удивило. Я-то знал, сколько лет Немко работал батраком, по бревнышку собирал себе хату. Трудился по ночам, по праздникам, потому что в будни должен был работать у Кадрыля. А появился колхоз - и у Немко, оказывается, отпал всякий интерес к своей хате.

Колхозные дела увлекали его больше, чем собственное хозяйство. Кроме колечка, у Павла никогда никакой собственности не было, но с тех пор как появился колхоз, он не жалел об этом. Все свои силы немой отдавал колхозной работе, а любовь свою, всю душевную нежность, какой наделила его природа, животным...

Лошади чувствуют доброе отношение к ним. Красивый

жеребец - три аршина ростом, холки рукой не достать - на десять шагов никого не подпускал к себе. А подойдет Немко, жеребец ловит губами его руку, трется мордой об одежду, ластится, как щенок. Иного двухлетка сам черт в оглоблях не сдержит, разобьет, разнесет все, а Немко возьмет его за повод, и сразу дикое животное превращается в послушного котенка. Ни в ночное, ни на водопой Немко не водил и не гнал лошадей, а ехал впереди верхом, и табун сам шел за ним. Почти все колхозные кони были выращены Павлом. Рождение жеребенка было для него праздником, первый выезд на молодой кобылице - великой радостью. Вся его жизнь стала неотделима от жизни колхоза, слилась с его интересами, с заботами о лошадях. И потому, когда началась война, Немко прежде всего испугался за судьбу своих питомцев - не пропадут ли они?

Три дня он ходил растерянный, заглядывал в глаза людям, старался спросить, посоветоваться: что же делать, как спасти лошадей. Но война разразилась так внезапно, черная напасть докатилась до деревни так стремительно, что в глазах людей он не мог найти ответа. В них пылала только ненависть к врагу, - то же самое чувство, которое носил в душе и Немко.

Мужчины спешили в военкомат, а женщины своими слезами еще больше бередили сердце.

На третий день войны в конюшню прибежал подпасок Филипка и крикнул, что немцы уже в Старобине. Растерявшийся подпасок даже не догадался жестами объяснить немому, в чем дело, а просто крикнул, как кричал всем, кого встречал на улице. Но Немко понял.

Каким-то образом и лошадям передалась тревога, точно в деревне бушевал страшный пожар. Когда немой вошел с фонарем в конюшню, десятки пар разумных глаз уставились на него с тревогой и надеждой.

Павел отвязал жеребца и вывел его во двор. Гнедой красавец захрапел, широко раздул ноздри, повел ушами и стал копытом бить землю. Павел на минуту задумался: что делать с остальными лошадьми? Но они сами вышли все из конюшни. Немой сел верхом на жеребца и поехал вдоль улицы. Около полусотни коней шли следом за Павлом.

Почти до самой осени Павел при помощи колхозников прятался с лошадьми в лесу. Когда он вернулся в деревню, на него смотрели, как на чудо. Человек до того высох за лето и так зарос бородой, что если бы он встретился в лесу даже с самым бывалым человеком, тот мог бы умереть со страха.

Пока не поспела картошка, Немко питался ягодами и тем, что приносили ему из деревни. А потом стал копать скороспелку.

Лошадям корму хватало. Днем они паслись в лесу, ночью Немко выгонял их на луга.

Первые дни в душе у него еще теплилась надежда: может быть, беда скоро пройдет, и черная орда врагов, запрудивших все пути и дороги, покатится назад.

А в поле цвел клевер. На широких просторах его красный цвет уже начинал преобладать над зеленью стеблей и листьев. С полей доносился такой приятный, сладкий аромат, что у Павла даже щемило в груди, а горькая обида так сжимала сердце, что трудно было сдержать слезы ярости.

Кони стоят рядом, в густом ольшанике. Павел чувствует запах их пота.

"Что же делать? Что же делать?" - думает человек.

Он лежит под можжевеловым кустом и, подперев руками густо заросший подбородок, смотрит на землю. По бурой, примятой травинке муравей тащит яйцо, в десять раз большее, чем он сам. Немко долго следит за муравьем, потом поворачивает лицо в сторону деревни. Далеко по дороге немецкий грузовик везет круглый бак с бензином.

"Пропадает, гибнет колхозное добро, - думает Немко, - а лошади зимой останутся без кормов, подохнут".

Ночью, выпустив коней на луг, Павел долго шарит на скошенных участках. Здесь война застала косарей, и Немко как-то видел в кустах забытую косу.

"Нужно косить клевер", - решает он.

За ночь он выкосил добрую делянку клевера, но утром немцы подъехали с возами и все забрали. А через дня два вражеский стервятник сбросил на деревню бомбу. Хаты горели всю ночь, далеко освещая поля.

И тогда Немко, посоветовавшись с колхозниками, решил травить посевы, травить лошадьми все: клевер, овес, рожь, гречку. Травить пока зеленое, а когда созреет - сжечь все дотла.

И часто в душные августовские дни, когда рожь до того перестаивала на солнце, что стебли ее ломались под тяжестью колосьев, Немко выползал из кустов, раздувал головешку и пускал по ветерку красного петуха.

Когда густое облако дыма, опередив огненную лавину и тяжело проплыв над склоненными колосьями, неожиданно поворачивало к лесу, птицы взлетали с крайних деревьев и отлетали дальше. А Немко неподвижно лежал в траве и всей грудью вдыхал острый запах горелых хлебов. Тонкие, прерывистые струйки этого запаха, как бы отделяясь от горького дыма соломы, отдавали то жареным горохом, то свежим печеным хлебом.

Немко уже давно не ел свежего хлеба. Этот запах не давал ему покоя, тревожил душу: хлеб, который мог бы есть он сам, хлеб, принадлежащий труженикам, - этот хлеб бессмысленно погибал в огне. А кто пустил огонь? Да тот же человек, которому принадлежал хлеб.

Сладковатый запах горелых зерен возбуждал в Немко страшный голод. Может быть, уже не доведется ему больше есть свой хлеб, вкусный, пухлый, с запеченной корочкой или пирог из ячменной муки, с маком или яблоками...

О лошадях и думать было тяжело. Долго колебался Павел, как поступить с ними. Вряд ли удастся прокормить их зимой. И если раньше он старался сохранить лошадей для колхоза, то теперь понимал, что главное - не дать их в руки врагу. Он нашел способ, как лишить врага хлеба. Но что же делать с лошадьми?

Павла долго мучил этот вопрос. Жаль было лошадей, до того жаль, что, казалось, лучше умереть, чем расстаться с ними.

Однажды, поздней ночью, заметив в чаще чуть светящийся огонек, подошла к Немко группа вооруженных людей.

Ночь стояла пасмурная, темная, собирался дождь, - в пяти шагах ничего не видно. Люди пробирались куда-то по глухой лесной тропе.

Первым к немому подошел человек, хорошо ему известный, - человек этот часто приезжал из района и ставил в конюшне своего коня. Вслед за ним вышли из тьмы и его спутники. Их было человек пятнадцать - кое-кто в военной форме. Они разместились вокруг костра, закурили.

- Что ты тут делаешь? - с помощью энергичных жестов спросил человек, которого Немко знал.

Встретив настороженный, растерянный взгляд худого, обросшего конюха, он добавил:

- И "тпру" здесь?

Немой кивнул: "да".

- Сколько?

Павел показал на пальцах: "Сорок пять".

Ответ Павла живо заинтересовал пришедших. Продолжая курить, они принялись неторопливо обсуждать какое-то, по-видимому, важное дело. Павел следил за их беседой, но в темноте мало что мог понять. Скорее по интуиции, чем по движению губ говоривших, он решил, что речь идет о лошадях. И так ему захотелось, чтобы эти люди, в которых он узнал партизан, посидели хотя бы до рассвета! Они ведь говорили о том, что все время тревожило его душу.

И вдруг Павел вспомнил, что он здесь хозяин, а они - его гости. "Чем бы угостить этих славных людей? Они, вероятно,

голодны..." Немой прежде всего подумал о голоде, вероятно, потому, что сам жил впроголодь.

Немко разгреб золу и вынул несколько печеных картофелин.

- Ешьте, - жестом пригласил он.

На рассвете Павла разбудили холодные дождевые капли, падавшие ему на шею. Он поднял голову. Над ним раскачивался густой и мокрый куст, а сбоку, на месте вчерашнего костра, тлела дымящаяся головешка. Дым, стелясь по земле, уходил в глубину леса. Сквозь деревья и кусты прорвался с поля вихрь, в бешенстве схватил горсть пепла и засыпал глаза Немко. На оголенном пепелище золотой россыпью вспыхнули и тотчас же погасли искры: пошел дружный дождь.

"Лошади мокнут!" - спохватился Немко.

Он вскочил, но тут же вспомнил, что лошадей уже нет, он сам передал их партизанам.

Павел опять лег под куст и по своей привычке опустил голову на руки. Так он лежал еще час или два, а крупные капли, срываясь с листьев ольшаника, все падали и падали ему на шею.

Перед восходом солнца Немко встал и пошел в деревню, оставляя на мокрой земле следы больших и плоских ступней.

* * *

О том, что произошло с Немко дальше, дядька Никанор долго не хотел мне рассказывать. Но я стал настойчиво просить его об этом. Он сначала будто рассердился и отвернулся от меня, а потом, глянув на меня снизу вверх и чуть не упершись мне в грудь бородой, медленно спросил:

- А знаешь, почему я не могу рассказывать об этом? Знаешь, почему мне тяжело вспоминать Павла? - И, скосив глаза в ту сторону, где стоял почерневший сруб немого, сам же и ответил: - Потому что мне надо было умереть тогда - понимаешь? Мне бы умереть, а ему жить.

И старик коротко рассказал мне историю гибели Павла.

- Ты же знаешь, наша деревня стоит в низине и осенью на улице бывает такая грязь, что ни пройти, ни проехать. Однажды в деревню на беду завернул фашист-офицер. Автомобиль еще кое-как тянул, пока под колесами земля была твердоватая, а потом угодил в канаву и - ни с места. Офицер послал солдата согнать людей - вытащить машину. Подошло нас человек пять, и Немко с нами. Шофер завел мотор, мы толкнули машину сзади, она и выскочила. Дальше был бугор, а там уж грязь не такая непролазная. Потому мы и отошли. Слышим, опять что-то каркает фашист, кричит, зовет. Ну, мы подошли, а Павел не слышал и не тронулся с места. Офицер орет, аж пена изо рта брызжет, а Немко глядит в другую сторону. Мы уже давай показывать гитлеровцу

знаками: человек, мол, глухой, не слышит, а если нужно, то мы сами позовем его. А он, сволочь, куда там, и смотреть на нас не хочет, вылезает из машины и прет прямо на Павла.

Ну, схватил его за бороду, лопочет по-русски, слышим, фашист винит Павла в непослушании и требует, чтобы тот толкал машину через всю улицу. А немой глядит только на его поганый рот, а понять ничего не может: известно, как фашист по-русски может говорить... Мы опять подходим к офицеру, показываем, глухонемой, мол, это человек, не слышит и не говорит, мы сами сделаем все, что надо... А он, лихо ему, еще крепче вцепился Павлу в бороду и примеряется, как паршивый петух, другою рукой схватить за волосы. Видим покраснела у немого правая щека, задрожали губы под усами. И вот взял он этак, не спеша, фашиста левой рукой за плечо, а правой как даст ему чуть повыше уха, так тот - кувырк в грязь!

Часа через два прилетают мотоциклисты и окружают деревню. Солдаты с автоматами шлепают по грязи, выгоняют всех, и старых и малых, на сухой бугор в конце села, где стоит старый Павлов сруб. Сошлись мы - и видим: лежит убитый подлюга на грузовике, часовые на карауле у трупа стоят. А рядом ходит взад и вперед по бугру ну точно такой же самый подлюга, только еще живой. Ходит и глазом не поведет на нас, все о чем-то думает. Потом повернулся к нам, заложил руки за спину и тихо, словно с глазу на глаз, заговорил по-русски, что немцы, значит, люди добрые, что они, видишь, никого не трогают, пока их не заденут... Потом подал знак. Выскочили автоматчики, выстроились, наставили на нас дула. Женщины - в плач, а мы стоим. Мой Филипка прижался ко мне, дрожит, бедный. "Ой, дедуся, - шепчет, - стрелять будут!" - "Молчи, - говорю, - внучек, молчи..."

А фашистский гад опускает руку в перчатке и вынимает пистолет из кобуры. "Я буду считать до трех, - говорит. - Если за это время не выдадите того бородатого бандита, всех вас перестреляем, а деревню сожжем".

И начинает: раз - и выстрел в воздух, два - и опять выстрелил, три...

Женщины голосят, дети плачут, глядят, бедные, на ружья и прикрываются ручонками. Филипка вцепился в меня и так дрожит, дорогой, что у меня сердце заболело. Я легонько беру его за руки, отвожу в сторону, а сам выхожу на три шага вперед. "Я, - говорю, - убил того злодея".

А сам стою и гляжу фашисту прямо в глаза. Два солдата зашли сзади и уткнули дула мне в спину. Вылезает один из машины, разглядывает меня бороду, одежду, - потом кивает

головой: да, значит, тот самый.

Подходят еще двое с автоматами, чтобы связать мне руки, а Филипка как закричит, бедный, как заревет, да ко мне... Слышу, за спиной у меня женщины плачут... И вдруг... - у меня даже оборвалось все внутри и ноги подкосились - оглянулся я, - вижу: Немко идет к машине. Я ему головою мотаю, а он чуть не бегом ко мне, расталкивает немцев и бьет себя рукою в грудь: я, мол, тот самый.

Так и погиб наш Павел, вечная память ему. А я до гроба не забуду его глаз - огонь в его глазах сиял, - когда он стоял у своего сруба и смотрел на врагов, не забуду его голоса...

- Какого же голоса, когда он немой был? - перебил я.

- Все слышали... - возразил старик. - Павел протянул руку к нам, и золотое колечко блеснуло. Потом он заговорил, и все это слышали. Никто не понял, что он сказал людям, только все навеки запомнили его голос. Спроси у моего Филипки, если не веришь.

Так и теперь в нашей деревне все верят, что Немко заговорил перед смертью.

1946